

нением о шалостях времен учебы, являлась продуктом спонтанного коллективного творчества, то во втором случае она звучит иначе, серьезно: обнаруживает осознанный выбор героев. На смену неуверенному в себе мальчишке Лариосику, попытавшемуся по-старому спеть недостающее слово в песне (а, может быть, и в жизни героев), вызвав тем самым тяжелые воспоминания, приходит громкоголосый, решительный в своих действиях капитан Мышлаевский, позицию которого, согласно ремарке, разделяет большинство героев: *Все, кроме Студзинского, подхватывают.*

Пушечная пальба за окном, несущая смерть и разрушение, сменяется салютом, означающим переход к новому этапу жизни. В финальной речи Лариосика разворачивается метафорическая картина жизни, центральное место в которой занимает визуальный образ корабля и гавани, ассоциируе-

мой с «кремовыми шторами» дома Турбиных, в стенах которого сохранились традиции русской культуры, умение ценить прекрасное, радоваться жизни и любить, что дает читателю и зрителю надежду, заставляет вместе с героями пьесы М. Булгакова рассматривать все происходящее «великим прологом к новой исторической пьесе».

Использование М. Булгаковым выразительных возможностей визуального и аудиального плана позволяет расширять пространственно-временные границы действия пьесы, интеллектуально-духовная жизнь героев «материализуется», находит соответствие в событиях реального мира. В смене аудио-визуальных значений выделяются, акцентируются наиболее важные для развития действия моменты, усиливаются обобщения, символизация, бытовой ряд пьесы связывается с бытийным.

Поступила в редакцию 19.12.2006

Литература

1. Палиевский П.В. М.А. Булгаков // Лит. в шк. 2002. № 7.
2. Наумова О. Михаил Булгаков: не предать себя // Новый Акрополь. 2004. № 2.
3. Солженицын А. Награда Михаилу Булгакову при жизни и посмертно. Из литературной коллекции // Новый мир. 2004. № 12.
4. Бердяева О.С. Драматургия Булгакова 20–30-х гг. как ненаписанная проза // Рус. лит. 2004. № 1.
5. Смелянский А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
6. Смелянский А.М. Драмы и театр М. Булгакова // Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. М., 1989.
7. Барабанщиков В.А., Носуленко В.Н. Системность. Восприятие. Общение. М., 2004.
8. Арнхейм Р. Перцептуативная динамика музыкального выражения // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
9. Булгаков М.А. Театральный роман: Романсы. Пьесы. М., 2004.

УДК 82.0:801.6; 82-1/9

Т.Г. Черняева

«ЕГОРКИНА ЖИЗНЬ» Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАМЫСЛА

Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Автобиографическая повесть Г.Д. Гребенщикова «Егоркина жизнь» вышла в свет в Америке уже после его смерти, в 1966 г. [1]. На родине писателя она была опубликована лишь в 1984 г. – в сокращенном журнальном варианте [2]. В послесловии к публикации известный исследователь сибирской литературы Н.Н. Яновский высказал предположение о том, что Гребенщикова «начал писать ее где-то в 1925–1926 годах» [2, с. 111]. В 2004 г. в России впервые вышло полное издание повести [3]. По сути дела, «Егоркина жизнь» остается до сих пор не открытым исследователями произведением выдающегося писателя русского зарубежья, чья творческая биография начиналась в Сибири. В середине 1910-х гг., издавая один за другим сборники

прозы [4] и работая над первым томом будущей эпопеи «Чураевы», Гребенщикова одновременно готовил материалы для повести о сибирском крестьянском детстве и отрочестве. Цель статьи – рассмотреть в совокупности ранние наброски будущей крестьянской автобиографии, до сих пор не попадавшие в поле зрения исследователей.

Актуальность для Гребенщикова автобиографического замысла, в общих чертах оформившегося к 1915 г., объясняется по крайней мере двумя причинами: глубоко личным, внутренним стремлением к самоопределению, с одной стороны, и желанием вступить в литературную полемику – с другой.

Начиная с 1912 г. складывались личные и эпистолярные контакты сибирского провинциала с пе-

тербургскими писателями, журналистами, издателями [5]. Писатель с весьма специфической культурной «родословной» (потомок сибирских аборигенов, выходец из крестьянской среды, не получивший систематического образования) иногда использовал биографические факты как своего рода «визитную карточку», знакомясь с известными литературными деятелями – Л.Н. Толстым [6], В.Г. Короленко. Так, в письме В.Г. Короленко от 5 марта 1914 г., посылая на его «благосклонный суд» свой сборник «В просторах Сибири» и рассказ «Змей Горыныч», Гребенщиков в постскрипуме добавил: «Я сын крестьянина из инородцев. Мне 30 л[ет]. Печатаюсь лет 7. Образовательный ценз – жизнь и книга» [7].

Когда же общение принимало характер постоянных контактов (как, например, с Е.А. Ляцким, В.С. Миролубовым и М.В. Аверьяновым), то перед крестьянским выходцем неуклонно вставал мучительный вопрос о «законности» его продвижения в большую литературу. Так, в письме Е.А. Ляцкому, «настоящему, глубокому интеллигенту», от 14 июня 1915 г. Гребенщиков пытается разрешить важнейшую для себя проблему: может ли он, такой «серенький и несведущий... в сравнении с настоящими людьми», заниматься литературой. Определяя свой путь в литературу как «неестественную пересадку из полевого чернозема в культурный сад», сделавшую его «чужим в этом саду, дичком», Гребенщиков тем не менее признается петербургскому корреспонденту в том, что у него есть «странное чувство, путаное и в то же время по-своему крепкое», – ощущение права «на свое особенное местечко в литературе» – и что у него «где-то в глубине души шевелится нечто вроде собственного достоинства и упрямо требует самостоятельности и своего индивидуального отношения ко всему окружающему» [5, с. 199]. Поиски срединного пути между «страхом» «всецело отдать свое собственное <“я”> под обаятельную власть книги и науки» и стремлением сохранить «все мои личные грани», «чтобы, взявши все нужное от культуры, не утратить и своего», закономерно направляли Гребенщикова к истокам, к биографическим корням собственной индивидуальности. Ярким свидетельством складывающегося автобиографического замысла является очерк «В детстве», в основе которого лежит сюжет инициационного путешествия в горы Алтая [8], автобиографическое письмо Гребенщикова критику Л. Клейнборту [9], а также другие, более ранние, наброски.

Обращение Гребенщикова к автобиографической теме совпадает по времени с усилением обще-

ственного интереса к новой «формации» писателей, вышедших из народных низов, «беллетристов-пролетариев», как назвал их критик Л. Клейнборт, посвятивший им свои исследования [10]. В 1912–1914 гг. вышли в свет «крестьянская» автобиография И. Вольного [11], а также первая часть автобиографической трилогии М. Горького¹. Автобиографический замысел Гребенщикова, по нашему мнению, в определенной степени был полемически противопоставлен художественным биографиям тех писателей, которые «эксплуатировали» мрачные стороны жизни низших сословий. Именно такой ракурс изображения преобладал в опубликованной в 1912 г. в журнале «Заветы» «Повести о днях моей жизни, моих радостях и злоключениях» И. Вольного, «страшной, мучительной и необходимой книге», по отзыву Львова-Рогачевского [12, с. 327]. М. Горький в предисловии ко второму изданию собрания сочинений И. Вольного отмечал особое пристрастие писателя к изображению страшных «картинок быта» деревни: «...казалось, что этот орловский мужик торопится рассказать о своей жизни все ужасное и горестное для того, чтобы другим, чужим, ничего не осталось, для того, чтобы перегнать их в изображении страшной жизни деревни, перегнать и лишить их права говорить и писать о том, что он знает лучше их» [12, с. 10–11]. По мнению Н.Н. Примочкиной, «не исключено, что повесть Вольнова была одним из толчков, побудивших Горького вскоре приняться за создание своей знаменитой автобиографической трилогии» [13, с. 6].

Показательно отсутствие реакции Гребенщикова на выход в свет первых глав повести И. Вольного, хотя, казалось бы, крестьянская автобиография должна была быть ему близка по духу. В рецензии на выход в свет первых книжек журнала «Заветы», где печаталась первая часть повести И. Вольного «Детство», Гребенщиков, подробно остановившись на рассказах М. Горького «Рождение человека» и И. Бунина «Веселый двор», подчеркнуто обошел вниманием повесть И. Вольного, лишь назвав, после первых глав романа В. Ропшина «То, чего не было», «две повести»: М. Коцюбинского «Тени забытых предков» и И. Вольного «Повесть о днях моей жизни» в отделе прозы журнала. В то же время в отзыве о рассказе И. Бунина, полемизируя с его изображением мужичьей психологии, Гребенщиков, как нам кажется, косвенно затронул и повесть И. Вольного с поразившими читателей жуткими картинами деревенской жизни. Приведем лишь краткую цитату из рецензии: «...изображать в народе одно бессилие, одну злобу и одну только

¹ «Детство» М. Горького печаталось в московской газете «Русское слово» с августа 1913 по конец января 1914 г. Отдельное издание вышло в свет в Берлине в 1914 г.

грязь – это, по нашему скромному разумению, значит не знать души народной. А такое незнание грешнее незнания деталей внешности, ибо благодаря ему *многие авторы* (выделено здесь и далее нами. – Т.Ч.) часто навязывают мужику чужую, сочиненную психику, трусливо пасующую при первом житейском ухабе, тогда как душа мужицкая слишком крепка, как и его терпеливое тело» [14].

Автобиографический замысел Гребенщикова, по всей вероятности, складывался также в полемике с М. Горьким, которому Гребенщиков был во многом обязан своим продвижением в литературную среду столицы, но тем не менее имел смелость в ряде случаев не соглашаться со своим наставником. Так, в письме Е.А. Ляцкому от 27 марта 1913 г., сетуя на суровый отзыв М. Горького о повести «Сельская знать», Гребенщиков отказывается начать «коренную переделку» своей работы, пока сам не станет «во всем согласен с А.М. А буду ли согласен – как можно ручаться? Хоть и дерзко, а иногда своего мнения или мысли не хочется переменить ни за что» [15, с. 185]. Однако тема серьезных эстетических разногласий между Гребенщиковым и М. Горьким требует отдельного разговора.

Отметим, что обе повести – и И. Вольного, и М. Горького – начинаются с изображения драматических событий. «Детство» М. Горького открывается описанием лежащего на полу умершего отца, вид которого пугает юного Алешу: «... его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами» [16, с. 11]. Смерть отца и последовавший за ней переезд Алешки с матерью в Нижний означают конец светлой полосы его детства и начало новой, полной страха и унижений, смягчаемой лишь присутствием «светящейся изнутри» бабушки. В первых четырех главах «крестьянской хроники» (авторский подзаголовок) И. Вольного происходит подряд несколько страшных сцен: автобиографический персонаж рождается «в коровьем закуте зимою», и его приносят домой «синего от стужи и заиндевевшего»; отец угощает малолетнего ребенка водкой; затем сам мальчик, чтобы «насолить насмешникам», решает «выпить всю водку, какая была в доме» [17, с. 33, 40]; отец избивает до бесчувствия свою дочь и жену [17, с. 46, 48], которые пытаются помешать ему увезти приданое дочери на станцию для продажи и т.п. Сближает оба «Детства» – И. Вольного и М. Горького – преобладание социально маркированного закрытого художественного пространства («маленькая, курная изба» Володимировых, дом деда Каширина) над открытым – природным, умиротворяющим, общечеловеческим.

Повесть «Егоркина жизнь» посвящена изображению крестьянского детства и отрочества, протек-

кавших в Сибири. Поэтому природное пространство объемлет все этапы жизни юного персонажа, начиная от его рождения, представленного в повести как один из любимых матерью рассказов о своей жизни. Первый, этюдный, набросок этой материнской легенды о рождении крестьянского сына представлен в автобиографическом письме Гребенщикова критику Л. Клейнборту от 2–13 декабря 1915 г. [9].

Письмо было инициировано Л. Клейнбортом: критик в это время занимался сбором материалов для статьи «Беллетристы-самоучки» [18] и с этой целью обратился к нескольким писателям «из народа», заявившим о себе публикациями в столичных журналах, с просьбой сообщить о себе биографические сведения. Социологический аспект анализа пути в литературу «беллетристов-пролетариев» обозначен в самом начале статьи, где заявлено о том, что в основе творчества «самородка» из народа лежит его биография: «Рассказ продолжает биографию, биография – рассказ, и интерес ее – интерес социальный» [18, с. 161].

Подробности момента рождения, с которых начато письмо Гребенщикова, в статье Л. Клейнборта являются яркой социальной характеристикой крестьянской среды: «В Егорьев день у нас всегда скот святят. <...> Вот и погнала мать свою корову в пригон. Погнала, да у забора, как раз возле повитухи, и стала «маяться» [18, с. 162]. В контексте статьи, наряду с описаниями тяжелого детства С. Подъячева, А. Чапыгина, А. Библика и др., детали рождения Гребенщикова становятся доказательством исходного тезиса критика о тяжелой, беспросветной жизни «миллионов людей» из низших сословий, в том числе и писателей-самоучек – этих «пасынков строя», у которых «уже у порога жизни нет любви, нет радости» [18, с. 165]. Однако намерение критика – сгладить различия между «беллетристами-пролетариями», унифицировать их тяжелый социальный опыт – не вполне осуществляется по отношению к Гребенщикоу. Дважды в статье оговариваются отличия Гребенщикова от других «пасынков строя». Приведем лишь одну из «оговорок»: «Правда, Гребенщиков попал писцом к мировому судье, который «полюбил его как сына» (цитата из письма Гребенщикова. – Т.Ч.) [18, с. 166] и итоговый вывод: «Но Гребенщиков *стоит особняком в ряду наших самоучек*» [18, с. 178]. Очевидно, что самый характер изложения автобиографических фактов в письме Гребенщикова повлиял на столь неожиданный вывод добросовестного социолога от литературы Л. Клейнборта.

Письмо Л. Клейнборту свидетельствовало о сложившейся к этому времени у Гребенщикова оценке личного жизненного опыта – оценке оптимистической, позволяющей опустить драматичес-

кие подробности прожитого в «невероятной нищете» детства.

Вернемся к началу автобиографического письма, восстановив сделанные в статье Л. Клейнборта купюры. Критиком опущены отсылка к материнскому рассказу о рождении мальчика и весьма характерное упоминание о моменте времени и состоянии природы: «По рассказам матери, я родился следующим образом. Был Егорьев день 23 Апреля 1883 года. Было яркое солнечное утро» [9, л. 1]. В повести в рассказ матери о рождении ребенка включены время крестьянского хозяйственного календаря и суточное время («встала я в то утро чуть свет-заря, пока умылась, помолилась, вышла корову подоить»); огромный природный мир и скромная деревенская улица («Подоила, солнышко уже показалось из-за сопки», «только выгнала [корову] со двора, в переулочок завернула»); «многообразие простонародья», которое составляет основу жизни юного героя и где ему «повезло родиться» [3, с. 16, 23, 24]. Ребенок рождается не в избе, а под ясным весенним небом, «возле стенки, на польнь-траве», и крестьянский мир встречает его рождение как всеобщий праздник: «бабушка Колотушкина, и соседки, и даже из дальнего конца села добрые женщины пришли навеститься, нанесли ей пирогов и всякой всячины... Такого в доме никогда не водилось – столько нанесли» [3, с. 16]. В отличие от повестей И. Вольного и М. Горького, сюжетное действие повести Гребенщикова начинается с того момента, когда его отец решает перейти из горнорабочих в крестьянское сословие и когда в семью постепенно приходит благополучие, добываемое совместным тяжелым трудом.

Подобно персонажу одного из ранних стихотворений С. Есенина, «внуку Купальской ночи», родившемуся в лесу «с песнями, в травном одеяле», крестьянский мальчик задумывается Гребенщиковым как мифический герой, при рождении освещенный весенним солнцем, получивший от земли удивительную живучесть, и, хотя испытывавший в жизни не однажды вкус «горькой польнь-травы», но в то же время открытый миру природы, божьей красоты и добра. Формула детства, «богатого невероятной нищетой» [3, с. 20, 23], присутствующая в повести «Егоркина жизнь», парадоксальна, оксюморонна: материальная «нищета» и доставшееся юному герою – вопреки и благодаря «невероятной нищете» – духовное «богатство» неразрывны. Социальное включено в бытийное, вневременное, природное, божественное. Название первой главы повести – «Что первое увидели глаза» – поддерживается в тексте примечательной сценой. Весенним утром молодая мать на руках несет ребенка «в церковь для причастия», а его глазам открывается озаренная солнцем «даль, даль, даль сразу же за пле-

чами матери» [3, с. 18] – бесконечная земная горизонталь. В то же время он впервые видит небо, «но не наверху, а внизу, под ногами матери»: она идет «по доскам и камешкам через весеннюю лужу», в которой отражается «небо всей синевой», «сделавши лужу такую же лазурною, такую же бездонною, как небо» [3, с. 19]. Насыщенная духовным содержанием пространственная вертикаль привносит в «Егоркину жизнь» нравственно-философский смысл, маркированный уже в первой главе повести авторским лирическим отступлением: «...как же широка и просторна жизнь для зрячей, для окрыленной мечтою души человеческой! Когда она отцветает на земле и, невидимая, переносится в новые миры, верхние и нижние, смотря по прежним заслугам, как много она может увидеть необъятной, безграничной радости!» [3, с. 19].

Следует отметить, что в более ранних газетных публикациях, имеющих автобиографический характер, – наброске «Китай идет!» [19] и документальном очерке «На родине» [20] – социально-бытовое («невероятная нищета») и бытийно-божественное («богатство» природной красоты и духовности) в сознании автора были подчеркнута разделены. В очерке «На родине» присутствует негативная оценка своей «предыстории»: «И знаю, ничего нет отрадного в прошлом, кроме оскорбительной нужды, кроме темноты кошмарной, а между тем...» [20], которая объясняется мучительным разрывом автора, молодого литератора из крестьян, с породившей его средой. Набросок «Китай идет!», созданный годом ранее, сам автор напрямую связывает с очерком «На родине»: «В одном из своих предыдущих очерков под названием “Китай идет!” я коснулся воспоминаний о своем детстве и, между прочим, о селе, в котором протекло мое детство» [20], однако образ деревенского детства в наброске принципиально иной.

По М.М. Бахтину, для идиллий всех типов общим является отношение их к «сплошному единству фольклорного времени», что «выражается прежде всего в особом отношении времени к пространству: органическая прикрепленность, приращенность жизни и ее событий к месту – родной стране со всеми ее уголками, к родным горам, родному долу, родным полям, реке и лесу, к родному дому» [20, с. 158]. Обозначение места в наброске «Китай идет!»: «Маленькое, забытое богом и людьми селенье...» – вписано в бескрайний природно-географический «масштаб» пространства. Продолжим цитату. Родное село рассказчика находится «как раз там, где громадные волны горного Алтая только что успокоились и через несколько десятков верст перешли в величавый штиль степных равнин, распростершихся до самых низовьев ленивой Оби...» [19].

Мизерность родного угла усиливается в другом очерке, «В детстве», оценочным определением «убогий»: «...маленькое, убогонькое горнозаводское село, в котором я родился» [8, № 65]. Однако так же, как и в предыдущем случае, убожество созданного людьми поселения «снимается» мощью природного мира: село находится «почти там, где буйная Уба выходит на равнину и течет спокойнее». Вписывая село как «конкретный пространственный уголок» (М.М. Бахтин) в величавый ландшафт окрестных гор, степей и рек, автор опровергает его ничтожность, тем самым возвышая статус человека, уроженца этих мест. Природные объекты – «буйная Уба», едва видные издалека горы Алтая, степные равнины – расширяют локальные границы родного уголка, тем самым юный персонаж, не переставая быть крестьянским сыном, становится сыном Сибири.

Главное место в отрывке «Китай идет!» (кстати, впоследствии вошедшем в главу «Страда» повести «Егоркина жизнь») занимает бабушка Касьяниха, «замечательная старуха по своей оригинальности», к которой «деткишки всего нашего околотка относились... с большой любовью», так как «по вечерам она рассказывала нам разные сказки и небылицы». Своей фантазией сказочница увлекает детей, заставляя их разглядеть в «безмолвном зареве заката», видном «до последнего луча», образ «страшного богатыря Китая», который «войной идет» на неприятеля: «Лежа он полземли занимает, а как встанет на ноги – в небо головой упрется... А рыло у него и усы и нос как у тигры, а глаза зеленые...» [19].

Автобиографический персонаж в этом отрывке «растворен» в едином целом детского коллектива: «со страхом притихали мы», «перистые облака теперь казались нам...», «Китай... стал для нас прообразом страха и возмездия за всяческие проступки» и т.п. Бабушка Касьяниха несет в себе черты всеобщей няньки, наставницы, спасительницы: она ведет детей «целым стадом на плотину купаться», «сидит на берегу и стережет, чтобы не утонул никто из нас, да чтобы не дрались, не шалили мы» [19]. Дети, ожидающие поздним летним вечером родителей с поля под присмотром Касьянихи, являются частью прочно устроенного крестьянского мира, того «многообразия простонародья», жить в котором «деревней, целой волостью, уездом, всей губернией» – «необъятное, непревзойденное искусство» [3, с. 23]. В этом отрывке, как впоследствии и в повести «Егоркина жизнь», автобиографический персонаж, растворяясь в детской общности, отличается от других детей незаурядной фантазией, творческим воображением. Дважды в тексте он выделен из безликой массы «детшек» синтаксической конструкцией: – «Помню, как мне, напри-

мер, казалось несомненным, что звезды – это открытые окошечки на небо, из которых на ночь вылетают ангелы стеречь детей, а когда утром они улетают обратно, окошечки затворяются...» – «Мне, например, представлялось, что Китай везде найдет нас: и в подполе, и на чердаке, и под кроватью, а все погреба и колодцы кровью будут затоплены...» [19].

В этом самом раннем автобиографическом наброске мир детства представлен Гребенщиковым как целесообразно-завершенный: дети находятся под надежной защитой старшего поколения, страхи вызваны не реальной угрозой, а скорее, фантазией няньки и впечатлительностью юного героя. Гребенщиков сосредоточивает внимание не на бытовом, а на бытийном, создает ситуацию сближения в «конкретном пространственном уголке» родной деревни «колыбели и могилы», «детства и старости» [20, с. 158].

В наброске «Китай идет!» нет места драматическим подробностям семейного быта, поскольку старуха и дети предстают перед читателем не в закрытом пространстве крестьянской избы – они существуют в необъятном природном мире, а также в фантастическом мире апокалиптической легенды, к счастью, разрушающейся после захода солнца.

В цитированном ранее письме Л. Клейнборту заметно стремление автора усилить фантазийные, креативные истоки собственной личности. Так, Гребенщиков охотно рассказывает о необычных качествах своей матери («Мать моя... “поэтесса”... Она умела лишь читать, но читала много, правда, простенькое, лубочное, душеспасительное, любила читать и путешествия... Хорошо умела петь простые песни, рассказывать сказки» [9, л. 3]); сообщает о своих ранних мечтаниях («Мечтанья детства моего были построены по сказкам и песням матери. Теперь я припоминаю, что они мне рисовали что-то цветное, именно: то красно-желтые и синие невиданные города, подвешенные к небу, то голубые, беспредельные пустыни, в которых терялись грустные мотивы ее песен» [9, л. 3]).

В то же время в тексте письма Л. Клейнборту старательно вымараны те строки, в которых речь идет о семейной драме, наложившей мрачный отпечаток на детскую жизнь автора. Так, после упоминания о «домашнем “грехе”, в котором... постоянно находилась... семья», в тексте можно прочесть лишь отдельные слова: «обижал свою жену», «ужас этих сцен», «мне... теперь еще... тяжело», «мужа (моего отца) ревностью» [9, л. 4]. В письме встречается выразительное обозначение невыносимой домашней обстановки: «...рвался я хоть куда-нибудь, только бы уйти из дома. Почему-то верил я, что там, за гранью этой деревенской тошноты свершится какое-нибудь чудо и я «выйду в люди»

[9, л. 5]. Отметим также рефлексии адресанта по поводу излишней откровенности: «Собственно, даже решил, что не следует себя тащить “на показ” с потрохами» [9, л. 3] и просьбу к адресату: «Ради Бога, не тащите подробностей в печать» [9, л. 14], которой заканчивается письмо. В повести «Егоркина жизнь» о «грехе в семье» между отцом и матерью упоминается в главе «Однажды, в студеную зимнюю пору...» как об одной из причин, заставивших Егорку уехать в город «искать другую жизнь» [3, с. 228].

Таким образом, в самом раннем автобиографическом наброске «Китай идет!» и в письме Л. Клейнборту отчетливо прослеживается складывающаяся у Гребенщикова художественная концепция детства, которая кардинально отличается от авторских установок И. Вольного и М. Горького. В их автобиографических трилогиях, этом «особенном жанре в русской литературе», по мнению Г.В. Краснова, «в то же время связанном с классическим видом повести» [21, с. 268], преобладает критическое изображение противоречий социального мира, внимание обоих писателей сосредоточено на «свинцовых мерзостях дикой русской жизни». М. Горький в период создания «Детства» считал, что «стоит говорить» о них, необходимо изображать «живучую, подлую правду» «тяжкой и позорной» русской жизни, в которой, тем не менее, «победно прорастает яркое, здоровое и творческое» [15, с. 192].

Замысел автобиографического повествования Гребенщикова на самых ранних этапах его формирования тяготеет к иной жанровой традиции – областническому роману. Поэтому социальный статус автобиографического героя не доминирует в замысле повести Гребенщикова, как это было у его «оппонентов». Как уже было сказано, автобиографический герой – сын своей родины, Сибири, и крестьянская суть представлена здесь иначе: не в социальной, а в бытийной ипостаси. Этим объясняется тот «налет сентиментальности, возвышенной идилличности», который ощутил в повести «Егоркина жизнь» Н.Н. Яновский, видя в этих качествах лишь психологический аспект (ностальгия постаревшего вне родины эмигранта) [2, с. 111].

По М.М. Бахтину, в областническом романе происходит прямое «развитие идиллии семейно-трудовой, земледельческой или ремесленной» [22], в нем реализуется свойственная идиллии «неразрывная вековая связь процесса жизни поколений с ограниченной локальностью», а ритм человечес-

кой жизни «согласован с ритмом природы» [20, с. 162]. Сибирская локальность, разумеется, в максимальной степени выражена в окончательном тексте повести, среди ранних фрагментов в этом отношении выделяется очерк «В детстве» [8]. О важном значении этого очерка для автобиографического «проекта» Гребенщикова свидетельствует то обстоятельство, что после отъезда из России он дважды обращался к его тексту, перерабатывая и дополняя его и соответственно меняя заглавие. Семантически нейтральное название «В детстве», уместное в контексте очеркового цикла, частью которого являлся очерк, изменилось на «географически-локальное»: «Первое путешествие в горы Алтая» в публикации 1925 г. [23], – а в повести «Егоркина жизнь» обрело характер объемлющего природного обозначения – «В лесах и на горах». Эта глава завершает крестьянское детство юного персонажа – в последующих главах жизнь Егорки протекает в городе. Егорка отрывается «от локальной целостности», уходя в город, однако Гребенщиков оставляет финал открытым, не изображая ни гибели персонажа, ни его возвращения – как блудного сына – в родной пространственный уголок.

Сюжетная основа очерка «В детстве» – опасное путешествие в горы за лесом для строительства новой избы. Мальчик-подросток, впервые покидая пределы села, вместе со своим одноклассником Андрюхой проходит через своеобразный обряд инициации, приобщаясь к труду взрослых мужиков. В очерке «В детстве» реализуются черты идиллического комплекса областнического романа – связь поколений (взрослые мужики и мальчики-подростки), семейно-трудовая идиллия: больше месяца «совсем особенной, полуживотной жизни в лесу», когда отцы помогают сыновьям справиться с тяжелой, но радостной работой, когда роль всеобщей няньки выполняет безобидный киргиз Тютюбай, когда людей связывают близкие, родственные отношения («нигде так дорог и любезен не казался человек, как здесь» [8, № 66].

Рассмотренные в совокупности ранние наброски автобиографического повествования позволяют понять жанровые основы формирующегося в творческом сознании Гребенщикова еще в середине 1910-х гг. замысла крестьянской автобиографии: в изображении юного персонажа отчетливо прослеживаются выделенные М.М. Бахтиным элементы идиллического комплекса областнического романа.

Поступила в редакцию 27.12.2006

Литература

1. Гребенщиков Г. Егоркина жизнь: Автобиогр. повесть. Southbery (Connecticut, США), 1966.
2. Гребенщиков Г.Д. Егоркина жизнь: главы из повести / Публ., примеч. и послесл. Н.Н. Яновского // Сибирские огни. 1984. № 12.
3. Гребенщиков Г. Егоркина жизнь: Автобиогр. повесть / Вступ. ст. и примеч. Т. Черняевой. Барнаул, 2004. (Б-ка журнала «Алтай»).
4. Гребенщиков Г. В просторах Сибири. Т. I. СПб., 1913; В просторах Сибири. Т. II. Пг., 1915; Змей Горыныч. Пг., 1916; Степь да небо. Пг., 1917.
5. Гребенщиков Г. Письма в Петербург [письма Е.А. Ляцкому, В.С. Миролюбову, М.В. Аверьянову] / Публ., предисл. и примеч. Т.Г. Черняевой // Алтайский текст в русской культуре. Барнаул, 2006. Вып. 3.
6. Черняева Т.Г. Г.Д. Гребенщиков о Л.Н. Толстом // Там же. Барнаул, 2004. Вып. 2.
7. РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 266. Оп. 3. Д. 110. 1 л.
8. Гребенщиков Г. В детстве // Жизнь Алтая. 1915. 28 марта. № 65. С. 3; 29 марта. № 66.
9. Гребенщиков Г.Д. Автобиографическое письмо Л.М. Клейнборту // РО ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). Ф. 586. Д. 58. 14 л.
10. Клейнборт Л. Беллетристы-самоучки // Современный мир. 1916. № 1. С. 161–178; Клейнборт Л.М. Очерки народной литературы (1880–1923). Беллетристы. Факты, наблюдения, характеристики. Л., 1929.
11. Вольнов, Иван. Повесть о днях моей жизни, радостях моих и злоключениях // Заветы. 1912. № 1–4 (Детство), № 8–9 (Отрочество); 1913. № 9–12; 1914. № 1–2, 5 (Юность). Отд. изд., кн. 1–2. СПб., 1913.
12. Львов-Рогачевский В. [Рецензия] // Современник. 1913. № 8.
13. Горький М. Иван Вольнов (1931) // Вольнов И. Избранное. М., 1956.
14. Примочкина Н.Н. Творчество Ивана Вольнова // Вольнов И.Е. Избр. произв. М., 1987.
15. Гр-ков Г. [Гребенщиков Г.]. «Заветы» // Жизнь Алтая. 1912. 22 июля. № 163.
16. Горький М. Собр. соч. 3-е изд. М.; Л., 1947. Т. 9.
17. Вольнов И. Избранное: Повесть о днях моей жизни. Повести, рассказы, очерки. М., 1956.
18. Клейнборт Л. Беллетристы-самоучки (Ал. Чапыгин, А. Бибик, Ив. Касаткин, С. Подъячев, Г. Гребенщиков, Л. Григоров, С. Фомин) // Современный мир. 1916. № 1.
19. Алтаич [Г. Гребенщиков]. Китай идет! (Из воспоминаний детства) // Сибирская жизнь. 1910. 30 марта. № 71.
20. Алтаич [Г. Гребенщиков]. На родине (Очерк) // Там же. 1911. 19 июня. № 135.
21. Краснов Г.В. Вослед Льву Толстому (автобиографическая трилогия М. Горького) // Русская повесть как форма времени. Томск, 2002.
22. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000.
23. Гребенщиков Г. Первое путешествие в горы Алтая // Зарница. 1925. № 11.

УДК 82.0:801.6; 82-1/-9

М.Н. Рахвалов

ТРАНСФОРМАЦИИ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ В ПЬЕСЕ Г. ГОРИНА «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»

Кемеровский государственный университет культуры и искусств

Прежде чем приступить к теме исследования, необходимо остановиться на самом понятии *культурная модель* (КМ), а также на том, что понимается под КМ христианства.

Понятие КМ до сих пор теоретически не обосновано, однако оно имеет большой эвристический потенциал. В первом приближении его можно обозначить следующим образом: это результат формализации устоявшихся связей некоторых элементов в механизмах культурного поведения в самом широком (общесемиотическом) понимании этого слова. Это понятие позволяет обнаруживать не только «вечные тексты» в истории культуры, но

и отслеживать их изменения в ином ценностном и пространственно-временном контексте.

Если рассматривать христианскую КМ с точки зрения заявленной темы, можно сказать, что она представляет собой главным образом культуру писания как такового: это всегда считывание, воспроизведение или переписывание (а точнее, списывание) изначального прототекста (Библии). Кроме того, необходимо вспомнить «слово» как вторую ипостась Троицы, апостолов, ставших в первую очередь писарями, и пр. При этом воспроизведение не обязательно имеет графический (книжный) характер: оно может быть обнаружено в типах пове-